

Памяти автора «Колымских рассказов»

Ирина КАНЕВСКАЯ

Западные журналисты сообщили из Москвы, что умер Варлам Шаламов. В доме для престарелых. В безвестности и нищете.

Не знаю, бывали ли вы в таких домах. Мне пришлось.

Быть может, страшнее всего — их запах. Как в советских ветеринарных лечебницах, там пахнет болью и страхом. Клеенкой в кровавых пятнах, казенной нищетой кроющих и безответных. И страхом. Старики в этих домах знают, что отсюда им одна дорога — на кладбище...

Фотография, апреля 1966 года, которую вы видите, была подарена ему фоторепортером из „Юности“. Там, в редакции, были люди, знавшие и ценившие его рассказы, которые они не могли печатать, но время от времени печатавшие его стихи — вполне невинные стихи о природе.

Порванный и самым коряво зашитый воротник ковбойки завернулся. Руки его — на снимке этого не видно — тяжело лежат на коленях, придерживая большого черного кота. Тускло-расплывчато блестит глаз на свисающей кошачьей морде.

Кот мертв. Застрелил его из винтовки сосед — генерал на пенсии. Просто так. Захотелось. Варлам не мог расстаться с другом. Держал его, завернув в пластик, в холодильнике — несколько недель. Страшно? А почему бы и нет? В его жизни бывало пострашнее...

Второй раз его арестовали в 1937 году (до этого отсидел 5 лет за троцкизм. Он даже немного гордился тем, что действительно что-то вроде повода было: он организовал группу студентов-литераторов, изучали Троцкого). Жена его, дочь известного писателя, от него отключилась.

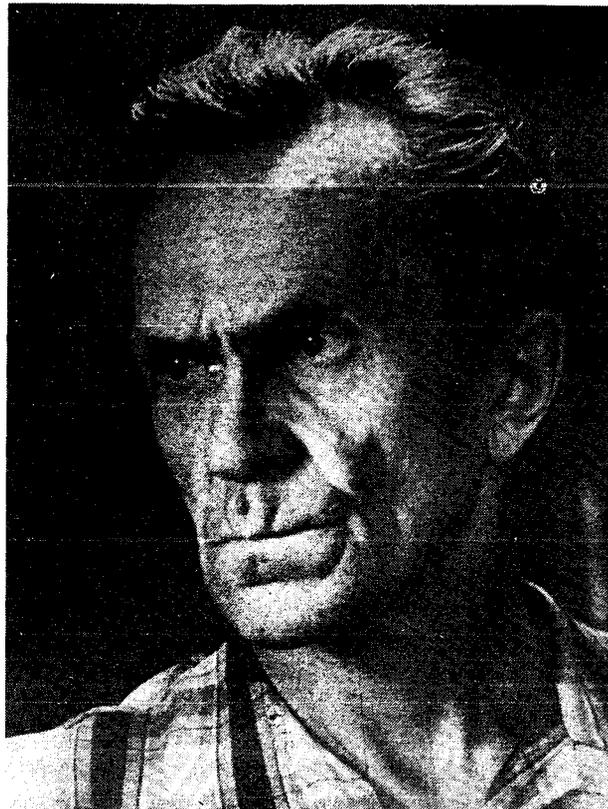
Шаламов вернулся в Москву лишь через 30 лет.

Сожженная жизнью жена, уже старуха, полубезумная, взяла его к себе. Но скоро все превратилось в ад, и Шаламов поселился один в маленькой комнатке на Хорошевском шоссе.

Он работал непрерывно: писал „Колымские рассказы“.

Труд, для одного человека почти невозможный.

Уже перенести все это — и не потерять облика человеческого было почти невозможно. Как-то, в ответ на мои слова, что я чувствую вину перед теми, кто сидел (хотя просто по возрасту не могла сидеть), он сказал: „Не надо. Человек не должен знать того, что мы узнали. Лагерь никого не улучшил. Он разлагает. Почти всегда“.



© by Irina Khenkin

Его лагерь не разложил. Он, конечно, не „благословлял тюрьму“ — он и до нее понимал, что к чему. И прозрел не благодаря ей. И писателем он был до нее — уже писал и печатался. Лагерь стал его темой — это да. Но личность Шаламова, видно, сложилась в о п р е к и лагерю. Мало кто знает, что Шаламов — сын священника (его рассказ „Крест“ автобиографичен).

Он говорил: „Мне повезло — меня не били. Первый раз, в 29-м, было еще рано, а потом уже перестали — поток. А то не знаю, каков бы я был...“

Так получилось, что мы по цепочке знакомств были очень близко от него и, хотя

еще не видели автора, получили одними из первых огромную кипу его рассказов. Большой пакет, завернутый в газету.

За городом, у друзей, на старой даче, запомним, передавая друг другу по страничке, читали.

Бывают моменты, когда жизнь становится агрессивна. Она бросается на тебя смертью близкого существа, твоей собственной болезнью, ситуацией, вынуждающей принимать судьбоносные решения. Только потом, после шока, понимаешь, что это был за момент, в котором, как в зерне, были ростки твоего же будущего. Вот таким был этот день лично для меня — когда я прочла, не отрываясь, пачку рассказов Шаламова.

Рассказы пошли по стране. А он продолжал писать. С черным, беспородным, мурлыкающим котом на коленях.

Высокий, все еще красивый, с быстрым исподлобья взглядом лагерника, он стеснялся людей. Мешала не только все усиливающаяся глухота, мешала мучительная болезнь нарушения равновесия — вдруг земля уходила из-под ног, и он падал.

Потом мы с мужем уехали работать в Прагу. В 1968 году чехи отменили цензуру и таможенные досмотры...

Сейчас, после смерти Шаламова, я могу рассказать, что в начале лета 1968 г., приехав в отпуск, я взяла у него чемодан — большой убогий советский фибровый чемодан, туго набитый рукописями. Там были, почти полностью, „Колымские рассказы”. Почти все носили следы авторской правки. Я привезла их в Прагу. Оттуда позвонила в Париж нашему русскому другу, он прислал французского студента, который взял чемодан и беспрепятственно провез его в Париж.

Но дальше произошло нечто, мне и по сей день не совсем понятное. Вместо того чтобы издать рассказы книгой, их переправили в США и начали печатать по капле в русском журнале, тем самым задержав для читателя настоящее знакомство с Шаламовым на несколько — больше десяти! — лет.

После оккупации Чехословакии меня, мужа и еще троих сотрудников журнала „Проблемы мира и социализма”, где мы работали, под конвоем отправили из Праги в Москву, как не оценивших „братской помощи” и за „плохое поведение”. Наступили нелегкие годы. Связаться с границей и четко узнать, что же происходит с рассказами Шаламова, было почти невозможно. Косвенно дошло такое очень странное объяснение:

рассказы тяжелые, люди не осияют целую книгу.

На Шаламова, ждавшего выхода книги, эта неудача и невероятный успех „ГУЛага” Солженицына — что теперь скрывать, это было именно так — сильно подействовали. Он не без основания считал, что сделал не меньше.*

Отчасти это, отчасти прогрессирующая болезнь, страх не успеть и желание видеть хоть что-то напечатанным были, по-моему, причиной того, что он подписал гнусную подsunутую ему бумажку — заявление, что „проблематика „Колымских рассказов” снята жизнью...”. Но нам ли судить его?

Мы часто виделись. Он приходил и к нам, и к Надежде Яковлевне Мандельштам. Они очень друг друга любили.

Потом болезнь резко усилилась. Он стал совсем сторониться людей, появлялся все реже. Последний раз я видела его перед нашим отъездом из Советского Союза, осенью 1973 г. С Даниловского рынка он нес ведро дешевых подмороженных яблок и новый конопляный веник. Почти ничего не слышал, читал что-то по губам. Сказала ему, что уезжаем. Он снял у меня с пальца кольцо и надел себе на мизинец. На память.

Когда я думаю о том, что рассказов Шаламова и сегодня не могут прочесть в Союзе, о том, что имя его замалчивается, о его мученической жизни, писательском подвиге и смерти в старческом приюте, о нарушении властями его последней воли — быть похороненным по православному обряду, — то я думаю и о своей собственной, и о нашей общей вине за его судьбу, о том, что нам еще суждено, говоря словами Волошина, „искупить смиренно и глубоко Иудин грех до Страшного суда”.

* Хочется еще раз (см. „П о с е в” № 5, 1981) напомнить читателям слова А. Солженицына: „Лагерный опыт Шаламова был горше и долше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне, досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт”. — Р е д.

Не упускайте случая переправить наш журнал в Россию или передать находящимся за границей гражданам СССР. Для возмещения переданного экземпляра обращайтесь по адресу издательства „Посев” к А.А.Кандаурову.